

Содержание

I // Хаммарская прелюдия <i>Карта острова</i>	5
II // На перемотке	43
III // В Мюнхен	107
IV // Сжался надо мной.....	175
V // Твой ночной брат.....	195
VI // Джига	240

I // Хаммарская прелюдия

Карта острова

Единственные карты, по которым он ориентировался, — это те, что хранились в его памяти или воображении, однако и они были достаточно четкими.

Джон Чивер. Пловец

Видеть, помнить, осознавать. Все зависит от того, где находишься. Когда я впервые приехала в Хаммарс, мне не исполнилось и года и я ничего не знала о большой и всепоглощающей любви, приведшей меня туда.

Вообще-то любовей было три.

Существуй в мире телескоп, через который можно взглянуть на прошлое, я бы сказала: «Смотрите, смотрите, это мы — вот как все произошло». И каждый раз, сомневаясь, что твои или мои воспоминания верны, или что все и впрямь случилось именно так, или что мы вообще когда-либо существовали, мы могли бы встать рядом и вместе свериться с телескопом.

Я нумерую, привожу в порядок и раскладываю по полочкам. Я говорю: «Любовей было три». Сегодня мне столько же лет, сколько было отцу во время моего рождения. Сорок восемь. Моей матери было двадцать семь, а выглядела она тогда и старше, и младше собственного возраста.

Не знаю, какая из трех любовей случилась первой, но начну с той, что пришла к моим отцу и матери в 1965 году и которая закончилась, когда я была настолько мала, что любви этой не запомнила.

Я видела фотографии, и читала письма, и слышала, как они рассказывают о времени, когда были вместе, и слушала, как другие рассказывают, но на самом деле о жизни других людей невозможно знать многого, особенно о жизни родителей, и уж точно невозможно, если родители вознамерились превратить свою жизнь в истории и захлеб рассказывают их, не заботясь о том, что именно там правда, а что — нет.

Вторая любовь — продолжение первой, в ней говорится о двух влюбленных, ставших родителями, и о девочке — их дочке. Я беззаветно любила мать и отца, я принимала их такими, какими они были, как порой мы принимаем времена года, или смену дня и ночи, или время. Мои родители были как день и ночь: когда заканчивался один, начинался другой. Я была ее ребенком и его ребенком, но, учитывая, что им обоим тоже хотелось оставаться детьми, это бывало сложновато. И еще кое-что. Я была его ребенком и ее ребенком, но не их ребенком, нас троих не существовало. Я перебираю ворох лежащих передо мной на столе фотографий и не нахожу ни единой, где мы сняты вместе. Она, он и я.

Этого сочетания не существует.

Мне как можно скорее хотелось вырасти, мне не нравилось быть ребенком, я боялась других детей, их изоциренности, их непредсказуемости, их игр, и чтобы расправиться с собственной детскостью, я представляла, как распадаюсь на множество мелких человечков, превращаюсь в целое войско лилипутов. Мы сильные. Мы маленькие, но нас много, я распадаюсь на них и перехожу от одного к другому, от отца к матери, от матери к отцу. У меня много глаз и много ушей, я — множество мелких фигурок, множество тоненьких голосков и бесчисленный набор движений.

Третья любовь. *Место*. Хаммарс, или *Дьяупадал*, как оно издавна называлось. Это было его место, не ее, ни одной из его женщин оно не принадлежало, никому из детей

и внуков. На миг мне казалось, будто мы свои там, будто это наше место. Если у каждого действительно есть только одно место — пускай это и не так, но уж если так, то это было мое место, по крайней мере более мое, чем данное мне имя. Живя в Хаммарсе, я не чувствовала напряжения, а жить, заточенной в имя, тяжело. Я узнавала запах воздуха, и моря, и камней, и узнавала, как горбятся под ветром сосны.

Давать имя. Давать, и брать, и носить его, и жить, и умирать с именем. Мне хотелось бы написать книгу без имени. Или ту, у которой сразу много имен. Или книгу, в которой все имена такие обычные, что их сразу же забываешь, или такие одинаковые, что их не отличишь друг от дружки. Мои родители дали мне (после долгих раздумий) имя, однако мне оно никогда не нравилось. В этом имени я не узнаю себя. Когда кто-то окликает меня по имени, я теряюсь, будто забыла одеться и обнаружила это, лишь оказавшись на людях.

Осенью 2006 года произошло нечто, о чем я впоследствии думала как о затмении. Астроном Аглаоника, или, как ее еще называют, Аганис Фессалийская, жила задолго до появления телескопа, однако умела предсказывать лунные затмения.

«Я могу заставить луну исчезнуть», — говорила она.

Она знала, куда идти и где встать. Знала, что произойдет и когда. Она протягивала руки к небу, и небо темнело.

В «Советах невесте и жениху» Плутарх предостерегает против таких колдуний — так он называет Аглаонику — и советует новоиспеченным женам читать, учиться и узнавать новое. Женщина, осведомленная в геометрии, пишет он, не будет испытывать потребности в танцах. Женщина начитанная не склонна к глупостям. Разумная женщина, знакомая с астрономией, лишь рассмеется, когда другая женщина расскажет ей, будто умеет управлять луной.

Время жизни Аглаоники точно неизвестно. Единственное, о чем мы знаем и что признавал даже Плутарх, как бы презрительно он о ней ни отзывался, это что она умела точно предсказывать время и место лунных затмений.

Где стоять, я помню, но способностью предсказывать не обладаю. Мой отец был человеком пунктуальным. Когда я была маленькой, он открывал стоявшие в гостиной дедовы часы и показывал мне их содержимое. Маятник. Гири. От себя и других он требовал пунктуальности.

Осенью 2006-го жить ему оставалось примерно год, но я этого не знала. Он тоже. Я стояла перед выбеленным сеновалом с ржаво-красной дверью и ждала его. Для съемок фильма сеновал перестроили, а вокруг тянулись поля и каменные заборчики и стояло несколько домов. Неподалеку расположен заболоченный лес Дэмба, обиталище всевозможных птиц: выпей, журавлей, цапель, кроншнепов.

Мы собирались посмотреть кино. Мы с отцом смотрели кино каждый день, кроме воскресенья. Я пытаюсь вспомнить, какой фильм мы хотели посмотреть в тот день. Возможно, «Орфея» Жана Кокто с его вязкими снами-фантазиями. Нет, не помню.

«Моя работа над фильмом, — писал Жан Кокто, — это сон, я сплю, и мне снятся сны. А во сне имеют значение лишь люди и места».

Я все вспоминаю, какой же это был фильм, но в голову мне ничего не приходит. Отец говорил, что глазам нужно несколько минут, чтобы привыкнуть к темноте. Несколько минут. Поэтому мы договорились встретиться без десяти три.

В тот день он пришел лишь в семь минут четвертого, то есть опоздал на семнадцать минут.

Ничто не предвещало. Небо не потемнело. Ветер не принялся обтрясать с деревьев листву. Шторм не поднялся. Над серыми полями взлетел поползень — он

немного покружил в небе и улетел к болоту. Было тихо и пасмурно. Овцы, которых на острове всех поголовно, независимо от возраста, называют ягнятами, паслись неподалеку, как им и полагается. Когда я оборачиваюсь и обвожу взглядом окрестности, ничего необычного не вижу.

Папа был настолько пунктуальным, что его пунктуальность жила внутри меня. Когда растешь в доме возле железной дороги и каждое утро просыпаешься от грохота поезда под окном, оттого, что стены, кровать и подоконник трясутся, то потом, даже переехав туда, где железной дороги рядом нет, ты будешь каждое утро просыпаться оттого, что по тебе грохочет поезд.

Нет, это был не Кокто и не «Орфей». Возможно, какое-то немое кино. Обычно мы рассаживались по зеленым креслам, а на большом экране мелькали картинки, не сопровождаемые брэнчанием пианино. Отец говорил, что с исчезновением немого кино умер целый язык. Может, это был «Возница» Виктора Шёстрёма? Его любимый фильм. *«Для него один-единственный день длится столько же, сколько целое столетие. День и ночь должен он выполнять хозяйские поручения»*. Нет, будь это «Возница», я бы запомнила. Единственное, что мне запомнилось от того дня на Дэмбе, кроме поползня над полем, — это что мой отец опоздал. Для меня это было так же непостижимо, как для знакомых Аглаоники — исчезновение луны. То есть для женщин, которые, по мнению Плутарха, были несведущи в астрономии и излишне доверчивы. «Пусть луна исчезнет и небо потемнеет!» — сказала Аглаоника. Отец опоздал на семнадцать минут, и всё было, как всегда, и всё изменилось. Он погасил луну, и время вышло из колеи. Мы собирались встретиться без десяти три, его машина остановилась возле хлева в семь минут четвертого. У него был красный джип. Ему нравилось ездить быстро и шумно. На нем были большие темные очки «летучая мышь». Объясняться он не стал. Он

вообще не знал, что опоздал. Как ни в чем не бывало, мы пошли смотреть кино. Тогда мы в последний раз смотрели кино вместе.

* * *

Он приехал в Хаммарс в 1965 году, когда ему было сорок семь, и решил построить там дом. Место, в которое он влюбился, представляло собой пустынный каменистый пляж, где там и сям торчали покореженные сосны. Он сразу же узнал себя, он знал, что это его место, оно подтверждало его самые потаенные представления о формах, пропорциях, цвете, освещении и горизонтах. И звуки — они тоже были особенными. В своем двухтомнике о Бахе Альберт Швейцер пишет, что многие лишь думают, будто видят картину, — на самом деле они ее слышат. Что именно мой отец увидел и услышал в тот день на пляже, неизвестно, но началось все тогда, то есть нет, не тогда, он же приезжал на остров за пять лет до этого, может, в тот момент всё и началось, никто не знает, когда что начинается и заканчивается, но для порядка скажу: здесь все и началось.

На этом острове они сняли фильм, съемки здесь проводились масштабные, и та, кому суждено было стать моей матерью, играла одну из главных женских ролей. В фильме ее зовут Элизабет. За десять фильмов, которые они сделали вместе, он успел дать ей множество имен: Элизабет, Эва, Алма, Анна, Мария, Марианна, Йенни, Мануэла (Мануэла — это в фильме, который они снимали в Германии), опять Эва и снова Марианна.

Но именно здесь мои родители впервые снимали фильм вместе, и здесь они почти с первого взгляда влюбились друг в друга.

Элизабет — женщина, которая, в отличие от моей матери, перестала говорить. В фильме она целых двенадцать минут лежит на кровати и из-за этого необъяснимого молчания заботы о ней возлагают на плечи сестры

Алмы. Кровать стоит посреди больничной палаты. Обставлена палата скудно. Окно, кровать, тумбочка. Вечер, сестра Алма заходит в палату и включает радио. Скрипичный концерт Баха ми мажор. Алма выходит, и Элизабет остается лежать в одиночестве.

Во второй части концерта камера нащупывает лицо Элизабет и застывает почти на полторы минуты. Изображение темнеет, но так медленно, что этого почти не замечаешь, во всяком случае, понимаешь это, лишь когда лицо на экране становится еле различимым, однако к этому моменту ты смотришь на него уже так долго, что оно отпечаталось у тебя в сознании. Это твое лицо. Только тогда, через полторы минуты, она отворачивается от тебя, вздыхает и кладет руки на лоб.

Сначала я обращаю внимание на ее рот. Ее губы — сосредоточение нервных клеток. Она лежит, и поэтому я наклоняю голову, чтобы рассмотреть лицо целиком. И когда я наклоняю голову, то словно ложусь рядом с ней на подушку. Она очень молодая и очень красивая. Я представляю, как отец смотрит на нее. Я представляю, что я и есть моя мать, на которую смотрит мой отец. И хотя темнота надвигается, ее лицо как будто светится, горит, распадается прямо у меня на глазах. Когда она наконец поворачивается и кладет руки на лоб, мне становится легче.

Мамины руки длинные и прохладные.

* * *

Однажды вечером отец взял с собой фотографа, и они пошли в заранее примеченное место. И там отец сказал: тут я, наверное, мог бы построить дом. Или что-то вроде того. Ага, но ты подожди, ответил фотограф, пройдемся чуть дальше, я тебе еще красивее место покажу. Если идти по берегу, как они в 1965-м, дорога закончится, но ни полянки, ни холмика, ни обрыва там нет. Никакой географической или геологической структуры, которая

свидетельствовала об изменениях ландшафта. Одни камни, насколько хватает глаз, ничто не начинается и не заканчивается. Лишь продолжается. Если бы это был лес, а не берег, можно было бы сказать, что отец отправился в лес и именно здесь захотел жить. Двое мужчин какое-то время стояли там. Долго ли? Достаточно долго для того, чтобы мой отец, если верить рассказам, *определился*.

«Выражаясь торжественно, я обрел дом, — говорил он, — а выражаясь шутивно, мы назовем это любовью с первого взгляда».

С этим рассказом о доме и любви с первого взгляда я живу всю жизнь.

Он пришел в это место и потребовал его, назвал своим.

Вот только слова мешали — каждый раз, когда отец объяснял, как так вышло, слова мешали, и он говорил: «Выражаясь торжественно, я обрел дом, а выражаясь шутивно, мы назовем это любовью с первого взгляда».

А если говорить обычным голосом и словами — тогда как? Если говорить не слишком громко и не слишком тихо, не убеждать, не вводить в заблуждение, не вышучивать, не пытаться растрогать? Какие слова он бы выбрал тогда?

Так сколько же он там простоял? Между торжественным и шутивным, между домом и любовью? Если бы он простоял слишком долго и поймал себя на благоговении, понял, что уже дал этому имя: дом, любовь, — то ему наверняка захотелось бы тряхнуть головой и побыстрее уйти оттуда. «Ненавижу накал страстей и плохую игру». А вот если он простоял недолго, то велика вероятность, что он это место не отпустил бы и постарался присвоить. Может, несколько минут. Достаточно, чтобы услышать ветер в уже тогда скособоченных соснах, ветер в ушах, ветер в брюках, камни под ногами, позвякивание монет между пальцами в кармане кожаной куртки, похожее на азбуку Морзе попискивание кулика: пип-пип-пип-пип.

Я представляю, как мой отец поворачивается к фотографии и говорит: «Послушай, как тут тихо».

Сперва любовь. Интуитивная уверенность. Потом план. Никаких импровизаций. Нет-нет. Никогда. Все следует продумать до мельчайших деталей. Та, кому суждено было стать моей матерью, — тоже часть этого плана. Он построит дом, а она будет жить в доме вместе с ним. Он приводит ее на это место, показывает и говорит. Они садятся на камень. Кстати, наверное, это она сказала: «Послушай, как тут тихо». Он бы такого не сказал — ни ей, ни фотографу. На острове были тысячи звуков. Наоборот — он повернулся бы к той, кому суждено было стать моей матерью, и проговорил: «Мы болезненно связаны». Ей кажется, что это красиво. Слегка мучительно. И сбивает с толку. Но будто бы правда. И, возможно, чуть пошловато. Ему было сорок семь, а ей — на целых двадцать лет меньше. Прошло время, и она забеременела. Съёмки к тому моменту уже давно закончились. И строительство дома в самом разгаре. В письмах к ней он переживает, что между ними такая большая разница в возрасте.

Я родилась, когда мои родители в браке не состояли, а в 1966 году на подобное все еще смотрели с осуждением. Незаконнорожденная. Нагулянная. Ублюдок. Внебрачная. Но это не имело значения, в том числе и для меня. Я была всего лишь свертком в маминых руках. Для отца это тоже не имело значения. Одним ребенком больше, одним меньше. У него уже имелось восемь детей, его называли режиссером-демоном (что бы это ни означало) и дамским обольстителем (тут уж все однозначно). Я стала девятой. Нас было девять. Мой старший брат умер много лет назад от лейкемии, но в те времена нас еще было девять.

С осуждением смотрели на маму — потому что она женщина. И ее мнение окружающих заботило. Она любила своего ребенка, как и полагается матери. Живот у нее рос, и она с гордостью несла его перед собой.

Нагулянного ребенка. Но в то же время ей было стыдно. Она получала письма от незнакомых людей. «Твой ребенок будет гореть в аду».

Когда я родилась, рядом находился мамин первый муж. Он был врачом и отличался, по словам коллег, веселым и живым нравом. Мама рассказывала, что рожать было не больно, но она на всякий случай кричала, и что он, врач, наклонился и, погладив ее по голове, сказал: «Ну ничего, ничего». Он знал, что это не его ребенок, у него самого уже тоже появилась новая девушка, но развестись с мамой они еще не успели. Поэтому по норвежским законам я считалась его дочерью. Я — 2,8 килограмма, 50 сантиметров, родилась во вторник как дочь врача. И несколько месяцев я — или она — носила фамилию Лунд. На фотографиях у нее пухлые щечки. Мне известно о ней совсем мало. В руках у матери она кажется довольной. Имени у нее пока нет. Она жила в Осло вместе с матерью, в маленькой квартирке по улице Драмменсвейен, дом 91, где жил также и бывший мамин муж. Спустя несколько лет в эту квартиру переехала бабушка, мамина мама. Многие отцовские письма приходили на Драмменсвейен, 91, и в одном из них, на желтой бумаге с логотипом отеля «Стадхотеллет» в Векшё, написано:

Вторник, вечер

Серо-черное письмо

Стель хороший, все ко мне добры, и меня переполняет космическое одиночество...

Среда, утро

Сейчас утро, за окном осеннее дерево, и сегодня все лучше... Оцепенение отпустило меня. Если мы пишем обо всех наших мыслях, должен рассказать об одной очень черной, которая пришла мне в голову сегодня ночью. В основном она касается моей телесной составляющей. Сам человек в той или иной степени довольно